



Ночная пахота. Трактористам — ударница тов. Васильева (Баксановская МТС).

Фото спец. корреспондента «Известий» ЦИК СССР в ВДЦК Н. Петрова.

А. ЛУНАЧАРСКИЙ

ГОГОЛИАНА

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ПРИГОТОВЛЯЕТ МАКАРОНЫ

Примечание 1. Иногда когда собиралось приемное для Гоголя общество, он сам с некоторой торжественностью в некотором шморе приготавливал для всех макароны по-итальянски, пересыпая этот процесс всякими шутками.

Примечание 2. Нижеследующее можно признать как бы за запись сна. Лучше всего признать эти страницы за то, что они и есть: за творческое и критическое сновидение, вызванное острым и огромным явлением — Гоголем.

Я очень торопился, чтобы не опоздать, и все-таки опоздал.

Я вошел, запылавшись, и сердце у меня колотилось.

Большая комната была по-своему ярко освещена, но после наших «электрических» привычек казалась скорей полутемной.

На огромном столе, расставленном «повоем» было всего четыре больших керосиновых лампы. Вель и их Николай Васильевич не любил. «Вот придумали лампы», — говаривал он, недружелюбно поглядывая на них, — а стали ли от этого счастливей?»

Зато на столе стояло множество разного рода канделябров и подсвечников, так что все было залито нежным и трепетным как бы мотыльковым, ласковым мерцанием восковых свечей.

Сразу трудно было охватить всех сидящих за столом. Но в сущности каждый был достаточно освещен.

Тут были и современники Гоголя, и более поздние русские люди, и кое-кто из наших современников.

Мне тем труднее было сразу ориентироваться.

Настоящая статья — одна из подполковников, но незаконченнов А. В. серия статей о Гоголе, предназначавшихся для «Известий». — Ред.

гироваться, что Николай Васильевич, очевидно, был шокирован моим опозданием и следил за мной холодно и тяжело тем недоверчивым взглядом, которым он встречал «чужих», явившихся среди «своих».

Не совсем приятное впечатление быстро прервалось потому, что один из гостей указал мне на стул около себя. Тем самым весь стол оказался заполнен. Тут уж я мог спокойнее оглядеться.

Время рассматривать гостей у меня не было, — мое внимание сосредоточилось на Гоголе.

Он сидел посередине главной полусы стола, около него толпилось человек пять прислуги и смешно стояла разная утварь, прилавая всей сцене какой-то тривиально-фантастический характер.

На одном табурете в большем куске сахарной бумаги лежали макароны, длинные и сухие, как хворост, на столе стояла соль, и совсем рядом с Гоголем казачок лет четырнадцати тор на жестяной тарелке большие куски издала похожего на старый воск пармезана. Но смешнее было то, что около Гоголя, несколько позади него, стояли две большие жаровни. Сине-сизый дым тянулся от них в открытое окно и в сад, полный сирени.

На одной жаровне кипело масло, на другой — вода в большом кагане. Мимолетная досада, вызванная в Гоголе моим опозданием, рассеялась. В общем же он был в необыкновенно хорошем настроении. Соответственно тому был он и одет.

Волосы Гоголя на этот раз были завиты и клок вперед поднят довольно высоко в виде буллы, хорошенькие усы пригнаны и востром выбран так, чтобы произвести эстетически положительное впечатление: на обычного для Гоголя строгого, темного свортуха, на

замкнутого жилета. Своей псевелорой Гоголь вообще любил кокетничать в хорошие минуты, он и тут потряхивал головой и довольно часто вертел усы.

В связи с кауферной декорацией своей головы «под художника» был он и одет с некоторой художественной праздничностью. На нем был довольно длинный темно-синий свортух-пафто, ладно сшитый, жилет светло-желтый с каким-то золотистым орнаментом, а галстук был прямо-таки изысканный: светло-коричневый с разным пестрым добавлением.

Когда я оглянул весь стол, я не нашел ни одного такого «пестрого» человека.

Ближе всех сидели к Гоголю, явно полные радости по поводу его хорошего настроения, улыбающаяся Смирнова, добродушный старик Аксаков, его сын Константин, смотревший на Гоголя величественно влюбленными глазами, и немного чванный, немного на-генераленный Шевырев. Гоголь подчеркнул изящным жестом браз пучка длинных макарон и, ломая их втрое и вчетверо, засыпал в котел.

«Друзья мои, — говорил он, — кулинарное искусство, как всякое искусство и как вся жизнь, которая в известном смысле есть искусство, и как вся вселенная, которая есть жизнь, основано на мере. Мы же вель с вами не станем есть потерявшие форму, разваренные макароны, — пусть это тушок ест, а не мы — итальянские сеньоры. Не может также макарона быть тугой, когда она сварена. Это не грубо для маленького домашнего гигиенического водопровода. Но кулинарное искусство основано не только на чувстве меры, а на чем-то еще даже большем, если только большее возможно».

«Ведь в самом деле, — Гоголь велел

при этом и начал делать жесты, напоминавшие отчасти фокусника, а отчасти коенда, лицо его стало чистейшей веселостью, — в лице своей, как и во всем, человек нашел соответственно охлажденнейших вещей».

Гоголь в изумлении обвел ближайшую к себе часть стола рукой и глазами: «Трубы из муки, какая-то маасса, из молока, да еще тертая, соль со дня моря, кипящее масло — все сюда собралось».

Вдруг Гоголь стал гораздо серьезнее: «Друзья милые! Хорошо, если кому в жизни, которую он приготавливает, как кулинар или в течение которой печет и варит свое лучшее блюдо на стол вселенной и бога, хорошо, если кому в жизни нехватает потребных продуктов. Хоть и сказано в Писании, что «нигде, где не рассыпал», и «жнет, где не сеял», а все-таки господь справедлив. А кто из дорогих моих собеседников в бога не верит, пусть скажет — судья, история или совесть. Ну, что ты, спрашивающий, спрашиваешь меня?» — сказал Гоголь, широко расставив руки: — Нет у меня продуктов и умения! Нет, и найти, что к чему, я не могу. Я — косяк и медведодооба. Я — проста. Уж там наградишь ли, накажешь ли, только по-простеньки».

Гоголь поднял лице вверх, и от этого оно накрылось тенью, и густые тени набегали в ямы глаз, а острый нос странно поднялся, как восковой, как неживой.

«А плохо тому, у кого все продукты были: плохо тому, кто легко умел на ходить соотношения... Ну, Гоголь, поминется, одарили мы тебя. Ну, веселый малороссианин, ты, полный святых с действительности волшебных образов, что ты нам, что ты миру, что ты вечности готовишь?»

Гоголь засуетился: «А как же, Осв вона Усе тут?» — А сам трясит... А вопрошающий: «Только всего? Отчего же ты не работаешь?»

Гоголь острым пальцем показал перед собою: «Такие драгоценности в груди: отчего не шлифовал?»

За столом наступило глубокое молчание. Свети мерцали как-то все враз, словно незримый дирижер управлял

ими, и дымные, странные слова Николая Васильевича тянулись вместе с чадом жаровень в окно, в оэд, в луне.

Гоголь сжал обе руки и крепко пригнул их к галстугу: «Господи, боже ж мой, ты же знаешь: не деннелся».

Молчанье, только потрескивают свечи да угли.

«Ты знаешь, а они не знают. — Гоголь торжественно обвел рукой вокруг стола. — Да я расскажу».

«Панове, госточки наши дорогие, я вам по-веселому рассказу, сколько только можно по-веселому, в макароническом духе», in spirito macaronico рассказать, правда, забавнейшие, но и проклятые и ужасные внутренние включения бедной души российского сочинителя Николая Васильевича Гоголя».

Он вдруг тряхнул своими красивыми волосами и вместе с прядями как бы сдунул с лица своего тень. Шельмовская улыбка осветила его, как если бы в буффонный бумажный фонарь вдруг вставили свечу.

«А уся била була у том, мопанничка, шо так я и не дознався, в какое ухо мне говорил чорт. Уша у меня большие, с малых лет и до смертного часу. Очень жгучие слова вливали в них и справа, и слева. И говорили разное, спорили с мозгом Гоголя, который тихонько сидел там за большими ушами. Вот это и выприло интересно. Я тут все наладил. Макаар Дмитриевич последит, а я рассказу про мои два уха над про моих двух наушников, может быть, вы легче догадаетесь, чем я, который из них чорт».

«Уши известно, шо я хоюю. Мы у нас в Хохландии часто буваем веселые. Должно быть, от солнышка, от вольного степного ветра. Вот пока думаю забыть, что вместе с тем я был паннич, среднепоместный такой, полтавский, шляхетский принцип. Видите ли, ма-

Макароническим называются шуточные стихи, преимущественно сатирического содержания, написанные на жаргоне, состоявшем из смешения латинских слов со словами живого народного языка, которым придавались латинские окончания (в роде «бабу» или «донату» — латинские окончания). Ред.

лые мои, от этого мне много веселости не перепадало. Был я большой, бледный и синий, душили меня детские болезни. Дорогие родители мои, веселый и даровитый мой батюшка, святая красавица-маменька, они были, несмотря на мое непапе, в бедных родственниках у вельмож Трошинских. Певыше забавлял бывшего министра родственник — помещик, драматург и актер, пан Василь Гоголь, а пошнее — «орбувы и кретины».

Гоголь вздохнул: «Но дом был полная чаша, это правда. Только денег хозяйство давало мало, а потому, я, подався и до Нежина учиться, сразу стал бедняк. Трунил паю мной так много и зло. Был я телом нескладный, а вместе с тем и обидчивый, ником цезушный. На стройного мальчонку, Кукульника долго я смотрел с завистью, пока на самом важном нашем поприще не стал я с Нестором рядом — это в театре».

Гоголь отбросил свои густые волосы, глаза его загорелись милым, подливающим весельем: «Вот тут-то и начинаются. Еще не голос в левом ухе, панове, а то, по поводу чего он и привлился: хохлякская моя веселость и насмешка».

Гоголь вдруг как бы вырос. Он широко протанул обе руки и глядел перед собою вдаль за стены комнаты.

«Смех, смех! Велико твое царство! В пем дети играют камушками у светлого ручья. В нем друг друга развлекают шутками за кружкой пенного вина пожизненные люди, у которых, может быть, давно изранаена грудь. Цветут в твоём царстве, царь-Смех, как пезабудки и ландыши, крошечные улыбки, нежные улыбки, а рядом, буйным кустарником, колочий и приличивый шиповник, который хватает своей иголкой прохляющую нелепель и жмет ее пламенем арки своих цветов. Но еще я над кустарником этим растуз твою величественные дерева и на них, как дивные венецианские бубки, волшебное отражая оружающее, висят, владыка-Смех, твои лучшие плоды и цветы. Подойдешь, присмотришься и вет цветка, нет плода, потому что весь он связан из одних птичек и постышек, хоть по-

ой волшебного-именных, черт окружающего.

А птицы, птицы, птицы! Они — поют и смеются, поют и смеются. В их веселе мир не только становится веселым. Нет! Слышите, как веселая песня смеха, великого Сирива, паралает и колет, и треплет! Как она вливает в себя все незаконное, неудавшееся, слабое, чванное, злое и как она все это перетирает. Великая птица Смеха на берегу Океана чистого, как хрусталь, где кунается восходящее солнце, моет одежды мира, дабы стали они когда-нибудь чисты...

Смех! Великий гений, ты, раскрывший крылья свои от востока до запада, какого-то птенца своего вложил в мое маленькое, еще полудетское, хохлякское сердце и, когда я молился порою моему гению и просил его, упавши, спасти меня от соблазнов и совиненый — это тебе я молился, я — сын, внук или правнук бога Смеха. Я конечно только позднее понял все значение Смеха. Во многом вы раскрыли мне глаза, Александр Сергеевич. Это про Смех сказали вы, недосигаемый, сладостный и торжественный поэт:

«Дуэ звенит, стрела трепещет И клубясь издох пифон, И твой лик победой блещет, Бельведерский Аполлон!» Гоголь закрыл лицо руками:

«Дорогие мои, минуточку молчанья, — забрался я сразу высоко, а начинать надо много ниже».

«Я мальцом этаким востроглазым, востроносим, птенцом этаким едва из гнезда, поглядывал на мир и любил посмеиваться. Да, насмехался. А как же? Чему собственно такой востроносый смеется? Пока вокруг востроносого все так себе, ровненько — он не смеется. А вот что нибузд не так вы пало что-нибудь: он и сказать никак не может, что выпало и почему, а от мечает, пальцем какжет, оценятами блещет, речочет, та ще и других зовет, да все вновь представит, к тому другое припомнит, та ще третье присочинит. Сам уж не смеется. Он уж — художник. Он уж чудной, вызванный им, смех ладненько слушает: да подбавляет

да щекочет. Вот он — смехач. Вот табив смехачом — наблюдателем критиком, полчерквателем, рассказчиком, актером — часто бывае хохло. Бывало над шутками этого самого невзрачного Микола Гоголя — как хохочут? И мои сверстники, а то и учителя меня похотркали смеяться и смешить, как зарождавшееся тогда переловое русское общество готово было аплодисментами настраивать на новые шутки Котляревского, та Квитцу, та Нарезного.

«Вот это было мое зерно и отсюда вышел писатель Гоголь. И этот писатель Гоголь, прямо шедший с куторов, из Нежинского лицея, мог притти в Велинскому и к его людям. А подержало его то на этом пути, что ласковое, сытое мнение, где распоривалась милая маменька, осталось в стороне и позали; в грудно было вырвать из него хоть клок ваты в большое левое ухо, где уж стал разлаваться голос».

Гоголь обвел всех присутствующих серьезными глазами: «Малоросейским шляхтичем я в то время формально был, а по существу — петербургским интеллигентом бедняком. Толкался и по канцеляриям и видел то густо с дворянством перемешанное красивное семя, которое правило страную. И, как ни гнуся проплеванная канцелярия, в ней не только часто увидишь забитого Азаяля, а сквозь ее костые рамы и неприятным войлоком обитую лверь сочилисы слезы страны и страшной песней хрипел востранный стон».

Гоголь опустил голову и задумался. «Тогда колда Гоголь в худой одежде по осеннему или знимнему пшнному, страшному Невскому и у каждого фонаря находившаяся востроносая гель призраком бежала вокруг настоящего Гоголя, который и сам себе казался призраком Манилы со всех сторон роскоши жизни и со всех сторон были железные решетки и железные бубочки Шез Гоголя легкой походкой среди светов в тьме с бьющимся сердцем за стройным женским силуэтом и, еще не ходила до лверя, уже знал, что это ольпенная, загрязненная молодость, брошенная на пожызу общественной

(Окончание см. на 4-й стр.)